СИМВОЛ РОССИИ

Фёдор Достоевский



ДОСТОЕВСКИЙ

ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО, БЕССМЕРТИЕ

Василий Васильевич Розанов
Евгений Андреевич Соловьев
Николай Александрович Бердяев
Дмитрий Сергеевич Мережковский
Юлий Исаевич Айхенвальд
Арсений Александрович Замостьянов

Достоевский. Жизнь, творчество, бессмертие

Серия «Символ России»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74684861
Достоевский. Жизнь, творчество, бессмертие:
ISBN 978-5-00269-284-2

Аннотация

Федор Михайлович Достоевский – великий писатель и великая тайна на все времена. Без него невозможно представить себе нашу страну, каждого из нас. Его романы поразительны по глубине прозрений, по трагической откровенности автора. По Достоевскому и по его героям в мире изучают загадку русской души. Его жизнь вполне соответствовала самым странным извивам литературной фантазии, самым необычайным его откровениям. Его считали и жестоким, и святым, и

хрестоматийным, и сложным. Эта книга – путешествие по проспектам и проулкам писательской судьбы. Путеводитель по жизни и творчеству Достоевского. Эту книгу написали младшие современники великого писателя – те, кто понимал его тоньше и глубже, чем мы. Главная книга о Достоевском открывает все тайны его жизни, его литературных озарений. Книга предназначена для всех, кто интересуется историей нашей страны, кто интересуется русской культурой и русской мыслью.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Евгений Соловьев 6
Глава I 7
Глава II 27
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Достоевский
Жизнь, творчество, бессмертие

© Замостьянов А. А., составитель, 2026
© ООО «Издательство Родина», 2026

Евгений Соловьев
Достоевский



Глава I

Достоевский и беллетристы 40-х годов. – Особенности. – Литературный пролетарий. – Вечное безденежье и вечная кабала. – Влияние города. – Городские темы и городские лица. – Психопатология и психопатия

Имя Федора Михайловича Достоевского упоминается обыкновенно наряду с именами Толстого, Тургенева, Гончарова, и никто, я думаю, не станет отрицать за ним права быть поставленным в первых рядах «стаи славной» беллетристов сороковых годов. Но если и возможно сближать Достоевского с его сверстниками с точки зрения места, времени, силы, таланта и общности «литературного происхождения» (от Гоголя), то подобное сближение очень трудно и потребует самых замысловатых натяжек, раз мы перейдем к духу, смыслу и форме произведений. Всем этим Достоевский уже обязан преимущественно себе и странным обстоятельствам своей личной жизни. Это – его неотъемлемая собственность, в которой ярко выразилась его резко очерченная индивидуальность, его болезненный психопатический гений, оригинальность его мышления и фантазии, не имеющая ничего подобного и равного в русской литературе. Положительно трудно не согласиться со словами Н. Н. Страхова из его письма к Достоевскому: «Очевидно, по содержанию, по обилию и разнообразию идей вы у нас первый человек, и сам Толстой,

сравнительно с вами, однообразен. Этому не противоречит то, что на всем вашем лежит особенный и резкий колорит». В чем же эта всеми замеченная, но никем вполне ясно не сформулированная особенность всей жизни и всей деятельности Достоевского? Кое-какие параллели дадут нам ответ на этот вопрос.

В произведениях Гончарова и в особенности Тургенева вам прежде всего бросается в глаза удивительная отделка формы. Все вызолочено, вылощено, отлакировано, отполировано; каждое слово на своем месте, каждая фраза не только закруглена, но и отшлифована. Ни одной лишней, ненужной подробности, ни одной страницы, в которой было бы заметно утомление или неровность таланта. Каждое произведение так и просится в переплет с золотым обрезом. Каждая фигура, каждая даже мимолетно появляющаяся на сцену личность (у Тургенева) точно из мрамора выточена: ни прибавить, ни убавить нельзя ничего. Видно, что это десятки раз обдумывалось и передумывалось, писалось и переписывалось и только потом уже давалось публике на прочтение с полной уверенностью в успехе, без всякой торопливости, без всяких заискиваний. Хорошо так работать, и счастлив тот художник, который может так работать. Но для этого нужны прежде всего средства и выдержка (внутренняя дисциплина). Ни того, ни другого у Достоевского не было. Во всю свою жизнь только две вещи он написал не наспех и не к сроку. Это «Бедные люди», первый его роман, и «Братья Ка-

рамазовы» – последний. Все остальное писалось столько же из потребности, сколько и из-за заработка, когда, бывало, и есть нечего, и сам Достоевский по уши в долгах сидит в Сибири или за границей. Оттого-то, за весьма малыми исключениями, у Достоевского нет ничего выдержанного, обработанного. Иногда целая сотня страниц производит впечатление какой-то papier mache[1], и только вдруг, в конце, гений, преодолев усталость, проявляется во всю мощь, точно молния прорезывает тучи и освещает всю картину фантастическим, дивным блеском. Обыкновенно же это тысячи ненужных подробностей, десятки отдельных интриг, нагромождения новых героев и героинь. Все это наспех, наскоро, с натугами и порывами, кризисами творчества, молниеносными проблесками гения и удручающим вымучиванием. Но иначе было нельзя: копить деньги Достоевский не умел и зачастую запродавал вместо романа белый лист бумаги, причем «мошенники» издатели огораживали свои интересы разными неустойками. Разверните переписку Достоевского; ведь это один и тот же мотив: «денег, денег, денег!», и мало-мальски чувствующий и мыслящий человек поймет, какая трагедия разыгрывалась в душе великого писателя, которому к такому-то сроку непременно надо приготовить такое-то количество листов. Раз попав в лапы господ Краевских и Стелловских, Достоевский только под конец жизни вырвался из них. Какой же силы должен был быть талант, успевший про-

[1] Папье-маше (*фр.*) – измельченная волокнистая бумажная масса.

явить себя во всю мощь, несмотря на нищету, каторгу, падучую и резкие признаки если не помрачения, то, во всяком случае, психопатизма, по-нашему – истеричности?..



Молодой Достоевский

Тургенев, Толстой, Гончаров писали и пишут, потому что у них была потребность писать, такая же неодолимая, «органическая», как у других есть, пить, спать. Литература и для них главное дело жизни, но не будь у них таланта, они преспокойно прожили бы и без нее. Пишу, потому что пишется, потому что хочется писать. Это завидная участь. Для Достоевского литературная деятельность была столько же потребностью, сколько и необходимостью. Он сам себя не раз называл литературным пролетарием и называл совершенно справедливо, хотя успех и удача приобретались им сравнительно легко. Как ни велик был его гений, спешка портила дело, коверкала его и терзала великую писательскую душу, заставляя то со злобой, то с отчаянием повторять: «Эх, кабы хоть один роман написать так, как пишут Тургеневы да Толстые…» А сколько унижений, сколько невидимых самолюбивых мук, сколько зависти и ревности к другим, более счастливым, которым от рождения дано то, чего ему, Достоевскому, удалось достичь лишь трудом целой жизни, т. е. материального обеспечения! Приходилось выпрашивать и вымаливать авансы – сотни, десятки рублей, выслушивать упреки за несвоевременную доставку заказов, писать, несмотря на припадки, и пр.! Жизнь Достоевского – это полная трагизма борьба гения с рынком…

Но вместе с этим Достоевский до страсти любил литературу и вне ее не искал ни заработков, ни занятий. Он с гордостью называл себя литератором, хотя и нищим литератором,

и даже обижался, когда ему предлагали занять какую-нибудь казенную должность или что-нибудь в этом роде. Только по временам срывались у него невольные проклятия, когда нужда слишком уж начинала давить, но и тут он твердо оставался на посту. Вот любопытный отрывок из одного письма, достаточно характеризующий эту душевную трагедию литературного пролетария. Дело в том, что Кашпирев (редактор «Зари»), не выслал ему к сроку 75 рублей. Достоевский разражается следующими строками: *«Неужели он думает, что я писал ему о своей нужде только для красоты слога! Как могу я писать, когда я голоден, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложил! Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она (жена) кормит ребенка, что ж, если она последнюю свою шерстяную юбку идет сама закладывать! А ведь у нас второй день снег идет (не вру, справьтесь в газетах), ведь она простудиться может! Неужели он не может понять, что мне стыдно объяснять ему все это! Да неужели уже он не понимает, что он не только меня, но и жену мою оскорбил, обращаясь со мной так небрежно, после того, как я писал ему о нуждах жены. Оскорбил, оскорбил!.. Он скажет, может быть: „а черт с ним и с его нуждой! Он должен просить, а не требовать“ и т. д.»* И такую вещь приходится писать автору «Бедных людей», «Записок из Мертвого дома», «Преступления и наказания»!.. Фразы же вроде: «я до того заработался, что отупел, и голова как забитая» – повторяются постоянно.

И все же Достоевский не только не оставлял, но даже и не думал оставить своей литературной лямки.

Оставим, однако, борьбу с рынком в стороне и перейдем к другой стороне вопроса. «*Ловкий француз или немец,* – писал Н. Н. Страхов к Достоевскому, – *имей он десятую долю вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы первостепенным светилом в историю всемирной литературы. И весь секрет, мне кажется, в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен*».

Этот совершенно верно указанный недостаток (так как сущность литературного таланта в том и состоит, чтобы с наименьшими затратами выражения, в широком смысле слова, произвести наибольшее впечатление на читателей) происходит отчасти от спешки в работе, отчасти и от других причин. Дело в том, что талант Достоевского – талант совсем особенный, исключительный. Владеть им он так и не научился до конца жизни. Это талант неровный, вспыльчивый, раздражительный, до последней степени нервный и капризный. Чтобы написать простое письмо, Достоевскому нужно было вдохновение, иначе у него и двух строк не выходило. Свои темы он брал сразу, приступом, одним размахом рисовал самые сложные свои типы (например, Иван Карамазов, Раскольников, Свидригайлов), а не подбирался к ним исподтишка, понемногу. Великий мастер психологического анали-

за, Достоевский совсем не был мастером в детальной живописи. Он не мог так возиться, так разглядывать, так разрезать по частям своих героев, как Толстой; не умел так вырисовывать их, как Тургенев; но он, как никто, умел жить с ними, страдать с ними, мучиться и волноваться. Созерцательности в нем не было ни на йоту, оттого-то творчество так истощало его. В то время как Гончаров смотрит на жизнь удивительно умным, понимающим и в то же время удивительно сытым взглядом, Достоевский – весь нервы, весь напряжение, весь мука и томление. Когда Толстой стоит перед вами, вперив свой испытующий гениальный взгляд в самую глубину души человеческой, творя суд над правым и неправым с медлительностью все испытавшего и все постигшего гения, Достоевский или проклинает, или благословляет, с любовью или с ненавистью, но всегда со страстью. Отсюда эта страстность, нервность, неровность таланта, это вечное клокотание вгруди, мучительно любящей, мучительно ненавидящей.

По-видимому, виноват в этом личный, по наследству полученный Достоевским характер, его, как сейчас увидим, истеричность, а потом и еще одно обстоятельство, особенно хорошо и метко указанное А. М. Скабичевским в его «Истории новейшей русской литературы». *«В то время как большинство беллетристов 40-х годов, будучи выходцами из деревень, принадлежали к рыхлому помещичьему типу, Достоевский является представителем разночинного, служилого класса общества, холерическим нервным сыном города; а во-*

вторых, в то время как большинство их были люди обеспеченные, Достоевский один среди них принадлежал к вновь возникшему классу интеллигентного пролетариата». Этому сыну города, интеллигентному пролетарию, всегда раздраженному, всегда расстроенному, ведшему такую упорную, отчаянную борьбу с жизнью и рынком, некогда было созерцать, смаковать и вырисовывать своих героев. Его беспокоит жизнь, ее материальная сторона, ее нравственные проблемы. Он как бы сторонится красоты, изящества, наслаждения. Он терпеть не может никаких художественных аксессуаров. Жизнь – это ужасно серьезная, ужасно трудная, даже жестокая вещь. Где тут целоваться да миловаться или описывать поцелуи да милованья. Жизнь – задача, долг, обязанность, борьба наконец, после которой руки и ноги будут в крови. Поэтому в произведениях Достоевского вы не найдете ни очаровательных описаний природы, ни захватывающих сцен любви, свиданий, поцелуев, ни обворожительных женских типов. Все это Достоевский отрицал в принципе. В «Бесах», в лице писателя Кармазинова, он потешался над Тургеневым, за его «страсть изображать, например, поцелуи не так, как они происходят у всего человечества, а чтобы кругом рос дрок или какая-нибудь другая трава, о которой надо справляться в ботанике, причем и на нем должен быть непременно какой-нибудь фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не видал, а дерево, под которым уселась интересная пара, непременно ка-

кого-нибудь оранжевого цвета». Этот пуризм очевидно происходил от слишком серьезного, слишком вдумчивого отношения к жизни, которая представлялась Достоевскому как религиозная проблема прежде всего. Равно как каждого его героя жизнь прежде всего мучает, так она мучила и его самого. Где тут описывать поцелуи интересных пар!.. Это-то уж, несомненно, взгляд на жизнь тяжкодума, городского пролетария.

Сын города виден также и в выборе сюжетов. Баре Тургенев, Толстой, Гончаров бар прежде всего и рисовали и как дополнение к ним – мужика. Третьего сословия, горожан, мещан, разночинцев они почти не затрагивали, иногда разве преимущественно ради «опровержения». Изящного общества Достоевский не знал и не выводил на сцену в своих произведениях. Мир чиновничества, интеллигенции, городского пролетариата – вот его сфера. «Он любит вводить читателя в городские вертепы, трущобы, где царят нищета и разврат. Он даже, как Диккенс, проникнут их мрачной поэзией. Не вдаваясь в описание красот природы, он очень часто разворачивает перед читателем иного рода ужасающие картины, от которых мурашки ползут по спине. Это в особенности Петербургу свойственная картина городских улиц ночью, в осеннее ненастье или зимнюю вьюгу, когда все, у кого есть теплый кров, прислушиваются к завываниям бури в своих тепленьких уголках, и лишь бесприютные, обиженные, сбившиеся со всякого пути, полуодетые в жалкие руби-

ща существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемые мокрым снегом, пронизываемые ветром и погруженные в какие-нибудь полубезумные грезы» .

К довершению всего, т. е. своей особенности, Достоевский был несомненным психопатом, не помешанным, говорю я, а психопатом, что не то же самое. В детстве он страдал галлюцинациями, потом падучей. Но и, кроме этого, у него были ярко выраженные признаки мнительности и истеричности характера. Что такое мнительность, знает всякий: это мучительное недоверие к себе, своим силам, жизни, это подозрительность в отношении ко всякому, опять-таки начиная с себя, это боязнь, испуганность перед жизнью вообще. Что же такое «истеричность», с которой нам придется встретиться не раз на протяжении биографии, об этом лучше всего скажет нам сам Достоевский – величайший из психопатологов. Отсылая за подробностями к «Братьям Карамазовым», я беру характеристику истерической натуры в изложении доктора Чижа: это «неустойчивое равновесие психических отправлений, чрезмерно легкая возбудимость, необыкновенно сильная реакция психического механизма и быстрая смена его возбуждений. В характере такого рода больных бросается в глаза пестрая смесь построений и аффектов, симпатий и антипатий, представлений то веселых, то грозных, то серьезных, то низменных, то с философским пошибом; стремлений полных энергии, но скоро пропадающих… У этих же больных есть и другая замечательная черта – са-

молюбие! Они самые наивные эгоисты, говорят только о себе и постоянно, с самым живым интересом, стараются обратить на себя общее внимание, возбудить участие, заинтересовать всех своею личностью, своею болезнью, даже пороками». В этом портрете трудно не узнать Федора Михайловича Достоевского, его неуравновешенную, неровную натуру, полное отсутствие внутренней дисциплины, капризность, быструю, беспричинную смену восторгов и отчаяния, симпатий и антипатий, крайнего увлечения и холодного равнодушия. Страшно за человека, которому приходится жизнь прожить с таким характером, а к тому же, если этот человек талантлив, беден, наивен, как ребенок… Но все это выяснится нам после.

Пока же два слова о миросозерцании. Совершенно естественно, что особенности личной жизни, исключительный, болезненный темперамент придали ему очень резкую индивидуальную окраску. Но было бы, кажется, совершенно напрасной работой представить это миросозерцание в целом: нет просто никакой возможности разобраться в противоречивых подробностях, во взаимно исключающих парадоксах. На мысль Достоевского личное – даже минутное настроение – оказывало могущественное влияние, и сегодняшнее белое могло очень легко завтра показаться черным. Если в «Записках из Мертвого дома» он утверждает, что характерная черта русского народа – стремление к справедливости, то это нисколько не мешает ему говорить в «Дневнике»: «наш народ

любит страдание». Если однажды Белинский представляется ему «благородным», то через какое-то время благородный человек оказывается поганым явлением русской жизни и т. д. Ни в жизни своей, ни в мысли Достоевский не знал дисциплины и противоречил себе не только в подробностях, но и в основном. Попробуйте изложить его взгляды на страдание: то он является перед нами чистым гуманистом, то признает необходимость страдания как наказания за грех, то просто преклоняется перед ним как перед таковым. Неправда жизни, опять-таки, то губит людей, то воспитывает в них внутреннюю силу. Многие же изречения Достоевского прямо зависят от минутной злобы, внезапно нахлынувшего раздражения, от личных симпатий и антипатий. Несомненно, что, вращайся он в другом обществе, он зачастую бы говорил другое и не делал бы таких ужасных скачков от христианского смирения к самому забубенному шовинизму или чему-нибудь в этом роде. Повторяю, мечта о том, чтобы представить миросозерцание Достоевского во всей его целости и стройности, совершенно неосуществима. Недисциплинированная мысль великого художника сама подчас не знает, куда она идет, и требует, например, каторги для сумасшедшего! (Раскольников)[2]. Но всё же общие идеи этого миросозерцания ухватить можно. В последней главе нашей книги мы говорим о Достоевском как о народнике, теперь же попытаемся охарактеризовать это господствующее ныне настроение.

[2] *См.* гл. V.

Понятно, что Достоевский, как страстный и нетерпеливый характер, зачастую чувствовал какую-то истеричную и вместе с тем непримиримую злобу и к жизни, и к людям. В эти мрачные минуты его душевные раны открывались; дикой и мучительной, полной ненужной, но неукротимой жестокости, представлялась ему жизнь. Со страстным любопытством художника погружался он тогда в человеческую душу и находил в ней столько грязи и мерзости, что требовались костры ада, чтобы очистить ее. Под влиянием такого настроения человеческий характер представлялся ему исполненным злобы и мучительных инстинктов. Он говорил: «человек – деспот от природы и любит быть мучителем». Он посягал на саму любовь, он и ей придавал характер инквизиционной пытки: *«я до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать»*. В столь же мрачном свете представлялась ему и дружба. *«Странная вещь эта дружба!* – восклицает он… – *Положительно могу сказать, что я на девять десятых стал дружен с ним из-за злобы!*» Подобные взгляды Достоевского обобщены под эпитетом жестокости таланта. Жестокость ли это таланта или результат вынесенной муки – не знаю, но прямо становлюсь на сторону последнего мнения. В отрицании любви и дружбы, в этом представлении жизни как ненужно жестокой, в этом инквизиторски-мучительском выискивании зла в своей собственной душе, в этом взгляде на деятельность чело-

века прежде всего как на покаяние – я вижу отражение тяжелой многострадальной жизни, выпавшей на долю великого писателя. Постоянно доходил он до отчаяния; обстановка, характер так давили и терзали его, что он ощущал в душе холодный ужас и неподавимый страх перед жизнью. Нежный и любящий, он становился способным различать вокруг себя одну злобу; страстно привязанный к жизни, он нетерпеливо отталкивал ее от себя и уходил в «подполье», чтобы оттуда проклинать бытие. Холодный ужас и холодное отчаяние то и дело овладевали им. Он хотел жить как человек радостный, сильный, здоровый, с любовью в сердце, но такая жизнь не давалась ему, и он оттолкнул от себя наслаждение, он проклял счастье.

И кроме того, по самому существу своей натуры, личного опыта, темперамента, Достоевский отрицал всякий эпикуреизм в жизни и даже с ненавистью изгонял его оттуда. Точка зрения эпикурейцев, поиск наслаждения, мысль, что наслаждение – господствующий мотив в деятельности человека, были просто противны ему. В юности он увлекается аскетическими идеалами, потом казнит интеллигенцию за то, что та стремится к личному счастью или старается устроить чужую жизнь по идеалу всеобщего земного счастья. Он решительно отказывается признать наслаждение за главный господствующий мотив деятельности и, увлекаясь полемикой с этим принципом, уже из духа противоречия утверждает, что человек ищет страдания, любит его, что оно нужно ему так

же, как и наслаждение. В трезвые же минуты он видит в людях просто способность к самопожертвованию, самую высокую и ценную с его точки зрения, способность отрекаться от своего «я» во имя абсолютного нравственного начала.

Отрицая эпикуреизм, вместе с ним Бентама, Милля, утилитаристов вообще, Достоевский в своих взглядах на личность твердо держится догмы христианского учения. Личность для него свободна, т. е. одарена свободной волей. Как таковая, она ответственна. Мало того, у нее есть сознание этой свободы, что и проявляется в раскаянии, в желании пострадать после совершенного греха. Даже не личный свой грех, а грех вообще личность способна принять на себя и радоваться страданию как началу, освобождающему от него. Личность свободна, а следовательно – ответственна. Это камень краеугольный всего миросозерцания Достоевского. В этом – и только, кажется, в этом он никогда себе не противоречил. Отсюда все выводы его учения. Даже рисуя психопатов и сумасшедших, Достоевский все-таки не поступался своим излюбленным принципом и к ним относился так же строго, как и к обыкновенным людям, требовал их ответственности и наказания, и только в «Дневнике» однажды переменил гнев на милость (дело Корниловой).

Содержание, ценность этой свободной личности не зависят от внешних, материальных условий, среди которых она находится. С точки зрения свободы воли это логично. Достоевский любил повторять: «не о едином хлебе бывает жив

человек», и всякая экономическая или материалистическая точка зрения на жизнь, утверждающая, что человек есть точная копия внешних условий, положительно претила ему. Какие, кажется, внешние условия в жизни русского народа, особенно крепостного мужика, однако и в нем сохранилась внутренняя правда, которая и светит из-под серого армяка и насевшей грязи. Не о едином хлебе жив бывает человек, и суть жизни совсем не в экономических или политических условиях, а в началах нравственных, религиозных. Большинство интеллигенции утеряло их. Но их не утеряла Россия, русский народ, сохранивший внутреннюю правду и православно-христианские идеалы. Поэтому нам, а не Европе, принадлежит будущее. Основанием нравственного начала жизни является любовь и смирение. Без любви нет деятельности, без смирения деятельность есть служение своему «я», эгоистическое искание личного счастья, чего Достоевский не допускал. Смиренно служить другому – таков идеал нашего писателя, но он не только не давал, но и прямо отрицал право вмешиваться в чужую жизнь, право заботиться о чужом счастье и устраивать его по собственной программе.

Личность, т. е. каждый в отдельности, прежде всего должна проникнуться мыслью, что в сущности она очень слаба и очень ничтожна, и что главные усилия ее должны направляться на свое собственное самоусовершенствование. Человек, сам человек, прежде всего должен быть хорош, а потом – видно будет. *«Смирись, гордый человек, потрудись, празд-*

ный человек», – учил Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи. Других оставь в покое и не думай, что ты можешь сделать что-нибудь с жизнью, тем более с народной жизнью.

Подводя итоги сказанному, мы видим, что Достоевский, отрицая совершенно эпикуреизм, материализм, социализм и пр., видел в жизни прежде всего проблему нравственную и религиозную. В разрешении ее, т. е. в поисках веры в Бога и личном самоусовершенствовании и заключается задача человека здесь на земле. Самый взгляд на жизнь у Достоевского отличается строгостью и своего рода мрачностью. Жизнь – задача громадная; житейская борьба суровая, и нечего плакать, если после нее и руки, и ноги в крови будут. Не для радости живет человек, а для осуществления нравственного идеала, в жертву которому он должен принести свое личное «я». Не любовь, не розы, не наслаждение, а работа, страдание, борьба – вот принципы Достоевского. Как в своих произведениях он никогда не описывает ни идиллических картин, ни поцелуев интересных пар, как там он постоянно указывает на зло, сидящее внутри человека, на присущую каждому карамазовщину, так и в его миросозерцании в общем господствует мрачный взгляд на жизнь. Жизнь – это жертва, самоотречение, долг, неисчерпаемая греховность. Истинная жизнь – это борьба с внутренним, нравственным злом, которое пребывает в каждом из нас. Страдание, во всяком случае, полезнее для этой борьбы, чем наслаждение, и стремясь

к последнему, мы совершенно забываем о высшей задаче и роли, предназначенной человеку на земле.

Как видит читатель, миросозерцание это чисто религиозное. Думая постоянно о высшем начале, руководящем жизнью, Достоевский совершенно логично подчинял ему человека и человеческое счастье. Мало того, как натура глубоко религиозная он и вообще-то был прежде всего склонен к подчинению, к тому, чтобы обратить всю деятельность человека внутрь, на самого себя, а не на борьбу с внешними обстоятельствами. Тут не консерватизм, не реакционность, не индифферентность даже, так как у Достоевского не было ни того, ни другого, ни третьего, а какая-то потребность подчиниться чему и кому-нибудь, потребность, вообще присущая религиозным натурам. Человек не все, тем более – отдельный человек. Есть нечто высшее, и вот в проповеди этого высшего начала, в постоянном искании его и прошла вся жизнь, вся деятельность Достоевского. Надо склониться пред чем-нибудь, чтобы не остаться под руководством своего личного «я»: оно ведет к гибели, к озверению. Победа над этим «я» и есть дело истинно человеческое.

Глава II

Детство. – Город и деревня. – Деревенские впечатления. – Мужик Марей. – Великое и святое. – Угрюмый отец. – Семейная жизнь. – Буквари, начатки, грамматики. – Жорж Санд

Ф. М. Достоевский родился в 1821 году, 30 октября, в Москве, в правом флигеле Мариинской больницы. Его отец, штаб-лекарь Михаил Андреевич, был из разночинцев, получал скромное жалованье и всю жизнь свою прожил очень скромно, скопив кое-что для своего многочисленного семейства, очень, впрочем, немного. Мать Достоевского – религиозная, хозяйственная женщина, равно как и муж ее, не выделялась, по-видимому, ничем особенным. Сам Федор Михайлович был вторым сыном; старший брат Михаил родился на два года раньше его, после были еще братья и сестры. Вся семья гнездилась в крохотной казенной квартире из двух или трех комнат, жила тихо, замкнуто, прикапливая на черный день, не зная никаких особенных развлечений, даже театра. Но жили дружно и спокойно, а впоследствии, когда удалось приобрести маленькое именьице в Тульской губернии, то и с большим разнообразием: на лето перебирались туда, что, конечно, вносило немало оживления благодаря новым, уже деревенским, впечатлениям, свободе в своем собственном поместье и т. д. «В городе жизнь велась в очень определен-

ных, однообразных и узких рамках; вставали рано утром, часов в 6. В восьмом часу отец уходил в палату, в 9 – уезжал на практику. В 4 часа пили вечерний чай, а вечера проводили в гостиной и обыкновенно читали вслух – „Историю“ Карамзина, стихотворения Жуковского, изредка Пушкина. В праздничные дни все вместе играли в карты, в короли, причем маленький Федя всегда уловчался плутовать, по юркости своего характера. В 9 часов, после молитвы и ужина, дети уходили спать». И это изо дня в день. По праздникам жизнь несколько изменялась. Дети отправлялись к обедне, накануне – ко всенощной, изредка разрешались кое-какие развлечения, вроде театра или балаганов, но вообще предпочитали побольше держать их дома. Лето, как было сказано выше, проводилось обыкновенно в деревне, причем сама поездка туда тянулась двое или трое суток. «Во время поездок этих брат Федор бывал в каком-то лихорадочном настроении. Он всегда садился на облучке. Не бывало ни одной остановки, хотя на минуту, при которой брат не соскочил бы с брички, не обегал бы близлежащей местности или не повертелся бы вместе с кучером возле лошадей!» В городе детей держали строго, особенно отец, который терпеть не мог их шалостей, любил, чтобы они постоянно занимались делом, и мечтал, по-видимому, о том, чтобы направить их по ученой части. К этой строгости примешивался своего рода педантизм, особенное твердое убеждение, что жизнь – это такая серьезная и трудная вещь, что подступать к ней надо во всеоружии и уже

с детства готовиться ко всяким лишениям, неприятностям, ясно выработав себе идею долга и обязанности. Поэтому детей не только не распускали и не баловали, а наоборот, сразу же старались ввести их в колею такой скромной и строгой жизни, где исполнение обязанностей, отсутствие прихотей стоит на первом плане. Дети, конечно, шалили, любили, например, разговаривать с больными через решетку, что запрещалось, но эти шалости от отца скрывались. Тот, стесняя себя во всем, чтобы дать детям хорошее, даже прекрасное образование, требовал и от них очень строгого отношения к себе. Баловства он не допускал совершенно. Быть может, слишком уж ясно сознавал, что его дети – бедные разночинцы, которым ни легкой, ни блестящей карьеры предстоять не может, которым все, каждый шаг придется брать в жизни грудью, и хотел приучить их к этому чуть не с пеленок. Отсюда это сухое однообразие жизни, этот излишний педантизм слишком строгого, слишком уж, так сказать, целесообразного воспитания.



Но в деревне, где семья проводила время обыкновенно од-

на, без отца, дети пользовались большей свободой. *«В деревне,* – рассказывает Андрей Михайлович, – *они постоянно почти были на воздухе и, исключая игры, проводили целые дни на полях, присутствуя и приглядываясь к трудным полевым работам. Все крестьяне любили нас очень, в особенности брата Федора. Он, по своему живому характеру, брался за все: то попросит водить лошадей с бороной, то погоняет лошадь, идущую в сохе. Любил он также вступать в разговоры с крестьянами, которые охотно с ним говорили, но верхом его удовольствия было исполнить какое-либо поручение и быть чем-нибудь полезным. Я помню, что одна крестьянка, вышедшая на поле жать вместе с маленьким ребенком, пролила нечаянно жбанчик воды и бедного ребенка нечем было напоить, – брат сейчас же взял жбанчик, сбегал в деревню и принес матери целый жбан воды…* » Здесь, в деревне, Федор Михайлович чувствовал себя как нельзя более хорошо: не было ни длинных строгих уроков, ни постоянной необходимости смотреть за собою. С братьями он играл в индейцев, но предпочитал вертеться возле крестьян, ходить за грибами, «слушать природу». *«Это маленькое и незамечательное место,* – говорил он потом о своей деревне, – *оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю жизнь, где все полно для меня самыми дорогими воспоминаниями»*.

Особенно впоследствии, будучи уже на каторге, Достоевский любил возвращаться к впечатлениям своего раннего

детства, к этому «святому и драгоценному, без чего не может и жить человек». Одно из этих воспоминаний он воплотил в чудную художественную форму, и было бы грешно не привести его здесь: *«Был второй день Светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, яркое, но на душе моей было очень мрачно. Другой уже день по острогу шел праздник, каторжных на работу не выводили, пьяных было множество… Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, несколько раз уже обнажавшиеся ножи – все это в два дня праздника до болезни истерзало меня. Наконец, в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился поляк М-цкий, из политических; он строго посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись. „Je hais ces brigands“*[3], – проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо. *Я воротился в казарму и, несмотря на то, что четверть часа тому назад выбежал из нее как полоумный, пробрался на свое место против окна с железной решеткой и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать; к спящему не пристанут, а между тем можно лежать и думать. Мало-помалу я и впрямь забылся и незаметно погрузился в воспоминания… на этот раз мне вдруг припомнилось почему-то незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего 9 лет от роду: я особенно любил тогда воспоминания из самого первого мо-*

[3] Ненавижу этих разбойников (*фр.*).

его детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне; день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел на гумна и, спустившись в овраг, поднялся в Лоск, так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Вдруг среди глубокой тишины я ясно и отчетливо услышал крик: „Волк бежит!“ Я вскрикнул, и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика. Это был наш мужик Марей. Мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно-русой, окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг. „Волк бежит!“ – прокричал я, задыхаясь. Я весь трясся, крепко уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня. „Ишь ведь испужался, ай-ай, – качал он головой. – Полно, родный. Ишь, малец, ай!“

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке… „Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись“. Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его

поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец, тихонько дотронулся до вспрыгивающих губ моих, улыбаясь мне какою-то длинною, материнскою улыбкою…

И тут, в Сибири, припомнилась мне эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачивание головой: „Ишь, ведь, испужался, малец!“ И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом, и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь во встречавшиеся лица.

Этот обритый и ошельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную, сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце».

Я подробно, хотя и с большими сокращениями, передал «эпизод» с мужиком Мареем, и потому, прежде всего, что, по-моему, это уже не просто эпизод, а одно из тех только с первого взгляда не важных событий, которые глубоко и невольно залегают в впечатлительную детскую душу, долго лежат там под грудой разных других мыслей и чувств, и потом вдруг, накопив за время своего долгого молчания невероятную силу и мощь, появляются на сцену и сразу надол-

го определяют как убеждения, так и деятельность человека. Под серым армяком, под заскорузлой дикой грубостью русского крестьянина, под его «зверским невежеством» Достоевский всегда искал и находил «глубину человеческого чувства», тонкую, почти материнскую нежность в отношении ко всякому слабому, несчастному, страдающему. Эти-то качества он, вместе с Константином Аксаковым, называл «высоким образованием народа нашего», эти-то качества и заставляли его верить в народную правду, вечно святую, никогда не преходящую, хотя и загрязненную, забитую. Конечно, не одни детские воспоминания виноваты в этом; но нельзя отрицать и того, что они играли, быть может, первенствующую даже роль. Сам Достоевский, по крайней мере, на стороне последнего мнения. *«Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства,*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.